

человека, лишённого совершенно свободы (... ) дорожке вдесятеро” [1, т. 4, с. 16–17]. И самая малая их толика поддерживала каторжанина не столько материально, сколько морально: “Положительно можно сказать, что арестант, имевший хоть какие-нибудь деньги в каторге, в десять раз меньше страдал, чем совсем не имевший их, хотя последний обеспечен тоже всем казенным...” [1, т. 4, с. 65]. Ведь «весь смысл слова “арестант” означает человека без воли; а, тратя деньги, он поступает уже по *своей воле*» [1, т. 4, с. 66]. Собственная работа и свои, пусть ничтожные деньги отвечали главной, по Достоевскому, “естественной потребности” [1, т. 4, с. 33] заключенного – хотя бы на время ощутить себя не единицей обезличенной тюремной толпы, а свободно-самодетельной индивидуальностью. Между тем последняя в Омском каторжном “семействе” как раз и исключалась, а потому самостоятельная работа и деньги здесь были запрещены. “Арестант не имеет собственности” [1, т. 4, с. 214], – “строго” провозгласил плац-майор рассказчику “Записок...”, формулируя тем самым один из постулатов как подчиненного ему острожного, так и других системно унифицированных “общежитий”.

Ведь социумы такого рода Омская каторга напоминала, в ее изображении Достоевским, и своим обязательным трудом – *совместным*, но начисто *отчужденным* от интересов его исполнителей. “Мне пришло раз на мысль, – замечает писатель, – что если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека (...), то стоило бы только придать работе характер совершеннейшей, полнейшей бесполезности и бессмыслицы”: “...например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно...” [1, т. 4, с. 20].

В главе “Первый месяц” (“Записки...”, часть первая) показано, как заключенные, посланные разобрать казенные барки на замерзшей реке, хотят придать цель и смысл этой ненужной работе (“Посылали только для того, чтобы арестантам не сидеть сложа руки, что и сами-то арестанты хорошо понимали”) [1, т. 4, с. 70] установкой ее предельного объема – “урока”, выполнение которого позволило бы им отдохнуть. Но надзирающий за ними унтер-офицер отказывается назначить урок. И работа идет “вяло, нехотя, немело”: “Даже досадно было смотреть на эту здоровенную толпу дюжих работников, которые, казалось, решительно недоумевали, как взяться за дело” [1, т. 4, с. 75]. Но вот инженерный начальник идет навстречу просьбе арестантов: “Урок был большой, но, батюшки, как принялись! Куда делась лень, куда делось недоумение! Застучали топоры, начали вывертывать деревянные гвозди. (...) Все вдруг как-то замечательно поумнели. (...) Ровно за полчаса до барабана заданный урок был окончен, и арестанты пошли

домой, усталые, но совершенно довольные, хотя и выиграли всего-то каких-нибудь полчаса против указанного времени” [1, т. 4, с. 75–76].

Самый принудительный труд принес людям известное нравственное удовлетворение, когда из обезличенного был преобразен в индивидуально-заинтересованный. Но подобная его гуманизация была возможна в Омском остроге лишь в отсутствие плац-майора.

С глубоким пониманием органичности этого чувства каждому живому человеку, в особенности невольнику, рассказывает автор “Записок...” о привязанности Омских каторжан к животным. Подлинного друга-утешителя нашел сам Достоевский, интеллигент и дворянин, а потому в остроге одинокий вдвойне, в обыкновенной тюремной собаке Шарике. Немудреная собачья ласка буквально спасала писателя в первое время его каторжной жизни от невыносимой душевной муки и, быть может, полного отчаяния. Для других обитателей острога не меньшей отрадой были тюремные лошади-водовозки; всеобщим любимцем стал занесенный кем-то в крепость козленок – этот посланец вольного дома, семьи и хозяйства. “Вообще наши арестанты, – говорит Достоевский, – могли бы любить животных, и если бы им это позволили, они с охотою развели бы в остроге множество домашней скотины и птицы. И, кажется, что бы больше могло смягчить, облагородить суровый и зверский характер арестантов, как не такое занятие? Но этого не позволяли” [1, т. 4, с. 189]. И тут на страже собственного стандарта тюремного существования бдительно стоял все тот же плац-майор. Это он, увидев однажды во главе партии каторжан козла, к тому времени выросшего в красивое, холеное животное, да еще и разукрашенного ветками и венками, пришел в бешенство: «Стой! – заревел он. – Чей козел?» Ему объяснили. “Как! в остроге козел, и без моего позволения! Унтер-офицера!” Явился унтер-офицер, и тотчас же было повелено немедленно резать козла» [1, т. 5, с. 193].

Итак, не пресечение и искоренение разнузданного индивидуалистического своеволия, а запрет на индивидуальность, *запрет на личность* – вот что лежало в основе острожной системы плац-майора и вот чем он, как смертоносная чума, страшил Омских арестантов. Злого паука, выбежавшего “...на бедную муху, попавшую в его паутину” [1, т. 4, с. 214], напомнил он автору “Записок...” при первой встрече с ним, и эта метафора в концептуальном контексте произведения столь же точна, как и определение *Мертвый дом*.

Однако право на личность или, говоря словами писателя, “потребность заявить себя, отличиться, выйти из ряда вон” есть, согласно Достоевскому, “закон природы” [1, т. 19, с. 20], главенствующее нравственное стремление каждого живого человека, в том числе и изгоя-отверженца. Больше того, в последнем это стремление, как показана